

Содержание

Анастасия Цветаева	7
Коктебель	9
Голландия	27
Белый кофе	87
Подземная река	135
Черное солнце двух судеб	164
Путь в Монрё	199
Серая курочка фазана	267
<i>Именной указатель</i>	<i>297</i>

Анастасия
Цветаева

Коктебель

Рассказать о ней — значит выхолостить словами живую, теплую, быющуюся в лохмотьях почти столетнюю жизнь.

В 1977 году ей было восемьдесят два.

На фотографии в книге ее знаменитых “Воспоминаний” — присмирившая пожилая гимназистка. Я же увидел ее в тот день совсем иной. Сконцентрированность энергии. Горбоносая, с волевым, как у Данте, подбородком.

Сидела сутулясь, уперев ноги в низкую табуретку. Мимо ходили больные, медсестра то и дело звякала шприцами. Почти в изголовье ее койки шумно работал, выключаясь с громким “бу-бу-бу”, холодильник. Но кажется, ничто не могло ее отвлечь от блокнота, лежавшего на коленях, куда она сосредоточенно, не отрываясь, что-то записывала.

Ее нередко фотографировали и чаще всего неудачно: какая-то бытовая приземленность. “Бабушка” из дома престарелых. Мало кому удавалось передать необыкновенность ее лица, напряженность работы мысли — все то, что с первого же мгновения так бросалось в глаза.

— Кунины, — обрадовалась Анастасия Ивановна, откладывая на кровать блокнот. — Знаю, они вам собирались позвонить.

Какая-то необычайная теплота шла от нее. Я был смущен и скован. Сказал, что работаю здесь, в больнице, в отделении

реанимации, завтра же попрошу, чтобы ее перевели из коридора в палату, там будет спокойней, удобней работать.

— Нет, не надо! — воскликнула она. — Мне и здесь хорошо. В лагере спала посреди барака, и то ничего. А здесь света, воздуха достаточно. Пожалуйста, не беспокойтесь.

* * *

...Душная, — потому что лето и много вещей, — тесная комната в коммуналке на улице Горького. Собираюсь уходить. Анастасия Ивановна подает мне пакет с пшеном, просит подалее затолкать в мусорный контейнер в углу двора.

— Может, посыпать голубям? — Знаю ее страсть кормить птиц.

— Ни в коем случае. — И поясняет: — В пшене завелись мелкие жучки. Если его высыпать, голуби их склюют.

— Ну, склюют, — глупо улыбаюсь. — И что же, разве они ядовиты?

С легким раздражением, сейчас же укрощая его, потому что — гость, врач:

— А *нам* (подразумевается — людям) кто-нибудь давал право распоряжаться чужой жизнью, уничтожать ее?

Вскоре всему, что находилось в этой тесной комнате, суждено было переехать в другое место. Анастасии Ивановне выделили однокомнатную квартиру неподалеку от Садового кольца на Садовой-Спасской, помогла Ирина Александровна Антонова, директор “папиного музея”, (так А.И. называла Музей изобразительных искусств, основанный ее отцом — Иваном Владимировичем Цветаевым).

И начались отчаянные метания меж двух огней. Годы прибавляются, одной без посторонней помощи не под силу. Но и с семьей сына, с правнуками, с шумными выяснениями отношений... Соединить свою новую квартиру с его квартирой? Не менять, жить одной? Но как сделать, чтобы не испытывала обиды семья сына, которой, получается, как

бы пренебрегли? В конце концов соображения творческой независимости, потребность в уединении взяли верх, и в то же время найден был компромисс: переехать на Садовую-Спасскую, а прописаться у сына в Орехове, закрепив за ним новую. Воистину сгубил москвичей квартирный вопрос. Кому непонятны эти маневры, цель которых не упустить жилплощадь... Иначе после смерти владельца она перейдет государству. А тут “владелец” уже далеко за восемьдесят.

“Кто знает будущее? Будущего не знает никто”. Этот рефрен из повести Анастасии Ивановны “Моя Сибирь” загадочным образом вплеся и в эту “квартирную” историю. Сын ее Андрей Борисович — “Андрей”, “Андреюшка”, как она его часто называла, — ушел из жизни раньше матери.



Удивительно, как много было в этой стандартной однокомнатной квартире скрытых пространств, заповедных углов.

Помимо привычных трех измерений, в ней существовало еще какое-то. Она уходила в него, как Алиса в Зазеркалье, то волшебным образом превращалась в девочку, сопровождаемую огромным ньюфаундлендом, то брела по улицам Рима, опаленная потерей матери, своими первыми нахлынувшими чувствами и разочарованиями. И вдруг появлялась в хмурый московский денек усталой сказочницей, отрешенной от быта.

Как она относилась к смерти? Временами мне казалось, Анастасия Ивановна рассматривала ее как некую разновидность жизни, где продолжали существовать Максимилиан Волошин, сестра ее Марина, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и еще многие, кого она любила.

Эту квартиру, как и ту, что была на Тверской, никак нельзя было назвать уютной. Да и что такое уют? Выдержанность стиля? Внутренняя гармония всех составляющих его элементов? Но сюда вещи, казалось, сбегались на короткое время,

так, постоять, чтобы при случае разбежаться в разные стороны. Они и о побеге сговориться не сумели бы: слишком разные у всех были характеры. Невозможно представить, чтобы старинный, “благородных кровей” шкаф, откуда безмолвно в своем патрицианском высокомерии взирал гипсовый император Тиберий (позже к нему присоединился принесенный кем-то цветной портрет Горбачева с еще не подчищенным сургучным пятном на лбу в форме Новой Зеландии), нашел общий язык с продавленным диванчиком под истертым плюшем. Или чтобы аристократический кабинетный рояль с инкрустациями — память о матери, талантливой пианистке, — нашел общую тему для беседы с колченогим столом. Но в том-то и дело, что у каждого из них было свое предназначение в этом доме, и, как актеры, занятые в одном спектакле, они покорно исполняли свои роли.

Вы подходите к двери и звоните три раза. Непременно три. Иначе за дверью затаится тишина и не откроют. “Благодарю покорно, — говаривала хозяйка. — По голове получить не хочу!” Не приколоты ли к черной дерматиновой обивке двери записка с просьбой не беспокоить? С трех до пяти такую записку можно было часто увидеть.

Обычно я приходил после суточного дежурства. Анастасия Ивановна сразу же открывала и приглашала в кухню. Всегда считала своим долгом накормить или хотя бы напоить чаем.

Прихожая настолько тесная, что вдвоем раздеваться в ней невозможно. На полу много стоптанных тапочек — гость должен переменить обувь, а не таскать на подошвах грязь в комнату.

В кухне уже ждут гречневая каша, салат из свеклы, чечевичный суп под рассуждения о похлебке, за которую Иаков продал право первородства.

— Вкусно. Вы сами готовили?

— Ну конечно! Ешьте, ешьте, вы после дежурства. — И вдруг спохватываясь: — Я, свинья, опять забыла! — Вставала. И я вслед за ней. Легким движением крестила стоявшую на

столе еду, тихо, хотя и с нажимом, как бы утверждая для себя истинность произносимых слов, говорила слова молитвы.

Ее набожность мне поначалу казалась чрезмерной, даже показной. Но чем лучше я узнавал ее, тем больше открывалось мне, что дело совсем, совсем в ином. То мне казалось, что внутри ее все время идет спор о вере и этот нажим в интонациях нужен, чтобы самой себе что-то доказать. И все это было, конечно, моим заблуждением. Подлинная причина ее страданий открылась мне годы спустя, во время нашей поездки в Коктебель на съемки фильма о Марине Цветаевой.

Мы сидим в кухне. Со всех стен на нас смотрят кошки и собаки — с прошлогодних календарей, наклеенных приходящими доброхотами.

Вообще, надо сказать, кухня меньше всего отражала сущность ее натуры. Аскетизм. Непритязательность в еде. Луковицы в банках, прорастающие зелеными перьями. Да, это было ее. И забавные собачьи морды были ей по сердцу. Об одной кошке, изображенной на большой цветной фотографии, в жеманном испуге поджавшей розовые губы, говорила с восхищением:

— Ну, вылитая Доброслава! Поразительно, правда?

Последние годы зрение ее еще больше ухудшилось — в сильных очках и с увеличительным стеклом в руке с трудом разбирала печатные тексты. Так что многое из той безвкусицы, что появлялась на стенах ее квартиры, она просто не видела.

Комната при всей разномастности вещей была ее. Служила гостиной и спальней, рабочим кабинетом, хранилищем архива, библиотекой и даже выставочным залом — сюда переехали работы правнучки Оли из Дома ученых, которые там выставлялись.

Но была здесь еще и некая сокровенная часть. За шторой, скрытая от посетителей, находилась маленькая спальенка, куда обычно редко кто допускался. Там помещалось самое драгоценное, все, что так или иначе радовало ее душу.

Верхнюю часть стены над узловатым диваном занимал холст с обтрепанными краями — копия растрескавшимися масляными красками картины Васнецова “Три богатыря”, исполненная сыном Андреем в нежном возрасте. Работа сама по себе наивная, полудетская. Тем, видимо, и улаждавшая материнское сердце. А ниже, у самого ложа, уже настоящая ценность — две акварели Максимилиана Волошина. Коктебельские пейзажи. Серебристый и охристый. Киммерийская степь, море.

И еще в этом сокровенном, отгороженном от всех пространстве помещалась домашняя церковь — иконостас от пола до потолка с потускневшей позолотой дерева, закапанного воском. Какие молитвы шептали здесь ее пересохшие губы, за кого просила она?

В изголовье ее неудобного ложа стояла резная тумбочка, а что было в ней и за диванчиком, я уже не знаю. Прятал однажды в пестрый шерстяной носок по ее просьбе деньги, долг, который принес, — опасалась случайных гостей, должны были вот-вот прийти.

Как она работала? “Жизнь надо ловить за хвост”, — говорила с улыбкой. Так и поступала. В Голландии — в Амстердаме, в Утрехте — почти каждый вечер, чему я свидетель, раскрывала блокнот форматом в лист писчей бумаги и, погрузившись в свои мысли, записывала впечатления прожитого дня удлиненными петлистыми буквами, наползавшими друг на друга.

Дома писала обычно за круглым столом, стоявшим в центре комнаты под лампой. Вены на лбу вздувались, выдавая напряжение мозговой деятельности. На столе тесно. Букеты засохших и свежих цветов в литровых банках, книги, большей частью подаренные, папки с рукописями, письма. Со всем немного было места для того, чтобы положить листы бумаги. А то его и вовсе не находится. Тогда она берет толстый картон, на него два листа бумаги, между ними копирку — и устраивается в кресле возле рояля.